



М.А. ВОРОНОВ
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Повести. Рассказы // Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1961
FB2: Isais <isais2005@yandex.ru >, 2014-11-21 10:36:15, version 1.0
UUID: samlib546eeb6f912287.05284268
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Михаил Алексеевич Воронов

Деревенская почта
(Калейдоскоп #1)

Михаил Алексеевич Воронов
Деревенская почта[1]

Весеннее солнце исправно-таки делает свое дело. Под его лучами скорехонько разрыхляются и тают наметенные в долгую зиму великаны-сугробы, оголяются до земли, с каждым днем все больше и больше плешивея, пригорки и изволочки, не десятками — сотнями всюду плодятся лужи и колдобины, и, точно вырвавшиеся из тяжелой неволи, с глухим говором катятся веселые ручьи, пенясь и увлекая всякую мелочь, какая попадает на пути. Через неделю пасха красная...

Весна разбудила даже Бутырскую слободу, долго и мирно спавшую под своими снеговыми сугробами. Куры закудахтали, захрюкали свиньи, с огородов и полей потянуло запахом навоза. Вечерами загудели гармоники и полились песни; уличная жизнь развернулась, стала люднее и шумнее; даже самый свисток на гвоздильном заводе играет сбор на утренней заре как будто радостнее, гулливей, а не по-зимнему, хрипло и жалостливо. «Благодарь, мать честная!» — умиляясь, вопиет чумазый, как эфиоп, гвоздильщик, шваркая шапку оземь.

Пришел понедельник страстной недели, и

кончилась работа на гвоздильном заводе. Рабочие получили из конторы завода расчет («дачку», как говорят они), — получили и заволновались. Одни потянулись в баню, другие торопятся сборами, чтобы поскорее схлынуть в деревню, третьи не меньше торопятся закупить и послать с земляками домой «гостинцы», четвертые столь же торопливо спешат к дядюшке Ипату и подобным ему благодетелям «обмыть дачку», пятые уже «обмыли», разнемогли и, словно ветром колыхаемые, шатаются из стороны в сторону, оглашая невинную улицу самыми ожесточенными ругательствами. Болит, ноет сердце будочниково при виде такой неурядицы: «Ох! не накласть ли?» — сжимая персты, думает он свою вековую административную думу.

— Герасим, а Герасим! Ты бы хоть бога побоялся, каторжная твоя душа! — кричит какая-то молодая бабенка, полуотворив кабацкую дверь и всунувши голову в щель.

— Прочь! — вырывается из кабака возглас в ответ. Женщина минуту стоит в размышлении.

— Ну, ежели не для меня, так хоть для ро-

дителей для своих... для дней этаких страшных... Гарася! Подь-ка, милый, что я скажу, — на все лады пытается она выманить своего неговорчивого Герасима.

Но Герасим упорно твердит «прочь!» и остается непреклонен и к проклятиям и к мольбам, так как влил уже в себя целых пять «махоньких», почему ему теперь не до родителей и страшных дней: он весь отдался увлекательному рассказу о том, что бы из него вышло, если бы да ему, Герасиму, вместо того чтобы «тянуть проволоку» на гвоздильном, пришлось бы пойти «по машинной части».

— Распьянюга, пьянюга ты подлая! Тьфу! — постояв некоторое время в ожидании, плюнула наконец молодица и, с сердцем хлопнув дверью, побежала вдоль улицы.

Перебежав три-четыре домика, она повернула в какой-то двор и затем шмыгнула в низенькую дверь кособокой избенки, ютившейся в самом дальнем углу этого двора. В избе в первую минуту трудно было разобрать что-нибудь: таким густым облаком стоял в ней табачный дым и так мало света давало единственное оконце, маленькое, запачканное и

вдобавок пробитое как-то не у места.

— О, черти, трубокуры! Ишь как накурили: до тошноты инда! — кашляя, выбранилась бабочка и сбросила платок с головы.

— Ну, что? — разом спросили ее несколько голосов.

— Известно, что. Разве с вашим братом, с дьяволом, сообразишь, когда вы бельмы-то нальете!

— Погоди, Никифоровна, мы и без того сдействуем в настоящем разе, — слышался еще чей-то голос. — Ты только говори, как тебе писать: в строгости али по-любезному? — утешал Никифоровну, как оказалось, писарь, уже сидевший за столом в ожидании работы. Перед писателем лежал сложенный вдвое полулист писчей бумаги и стоял пузырек с чернилами и воткнутое в него гусиным пером; тут же стояла опорожненная косушка и рюмка.

— Так как же? — вопросительно возвел на Никифоровну писарь свои очи.

Молодуха села к столу, подперла ладонью щеку и задумалась.

— Ох, да что я! Разве нам в строгости-то

можно писать, когда письмо пойдет к Герасимову отцу с матерью? — надумала наконец она. — Ведь это ему бы самому, псу, и сочинять, а он ишь...

— Ей по-любезному следует... и горазже-таки! — подтвердили человека четыре рабочих, находившихся тут же в избе: один из них, сидя в углу, переворачивал какие-то свертки и узелочки, то раскладывал их вдоль лавки поодиночке, то сгребая в одну общую кучу; другие подошли к столу и, затаив дыхание, впились глазами в писаря и ждали.

— Так от него писать? — спросил писарь, взявши перо в руку и устанавливая дрожащие пальцы на бумаге.

— Да, от Герасима... а и от меня тоже, — не совсем еще собравшись с мыслями, пробормотала молодица. — Но больше от него надоть, потому я, известно, хочь бы и жена, но все-таки ровно бы не то что чужая, а так как будто бы не из ихнего роду, — распространилась было она.

— Как отца-то зовут? — перебил писарь.

— Иваном Харитонычем.

— А прозвище?

— Залежныйй.

— Как?

— Залежныйй, Залежныйй, — хором подсказывали зрители.

— Ну, да это, впрочем, к делу нейдет, — склонив голову над бумагой, произнес писарь и заскрипел пером. Настала мертвая тишина. Все глаза устремились на кончик пера, выводящего на бумаге такие-то хитрые каракули, что и сказать невозможно.

— А мать как? — через минуту спросил писарь, не поднимая головы.

— Агафья Омельяновна.

Писарь снова заскрипел.

— Да ты что, какую мать-то спрашиваешь? — любопытствовала молодлица.

— Известно, про какую. От кого письмо, про того и мать спрашиваю.

— Так евонная, Герасимова-то, мать — Дарья Патрикевна, а Агафья Омельяновна это — моя, — добродушно заметила Никифоровна. — То-то я и подумала: лучше, мол, успросить у Семеныча, про какую он про мать-то спрашивает, чтобы опосля фальши какой не вышло.

— Я еще до матери не дописал, — пробормотал себе под нос Семенович.

Долго, томительно переступая с ноги на ногу, с любопытством следили зрители за писаньем, долго, подавляя глубокие вздохи, во все глаза смотрела Никифоровна за бегом пера на бумаге и рвалась подсказать, о чем еще следует приписать, — наконец томление кончилось: писарь остановился, крякнул и коротко проговорил:

— Еще что?

Все встрепенулись.

— Ну-ка, почитай-ка, Семеныч, как оно выходит? — ласково молвила молодица.

— Да уж выходит — одно слово...

Сочинитель отдалил от себя писанье на приличную дистанцию и, прищуривши левый глаз, прочел:

— «Любезнейшему нашему родителю, тятеньке Ивану Харитонычу посылаем мы и с супругой нашею Анною Никифоровною, наше сыновнее почтение и низкий поклон, и с любовью, и испрашиваем вашего родительского благословения, навеки и по гроб нерушимого, а равно и любезнейшей нашей родительни-

це, маминьке Дарье Патрикевне, и с супругою нашею Анною Никифоровною, посылаем наше сыновнее почтение и низкий поклон, и с любовью, и испрашиваем вашего родительского благословения, навеки и по гроб нерушимого...»

— Ловко! — одобрили слушатели.

— Теперича дочке ихней отпишите, — подсказала Никифоровна.

— А как зовут?

— Устинья Ивановна. Она еще невеличка, по пятнадцатому году всего, — пояснила молодуха. — В деревне-то, бывало, мы всё ее: «Устюшка» да «Устюшка». Ну, и в письме-то уж, известно, величать следует, этак-то не скажешь... запросто, то есть.

Писарь поместил в письмо и Устинью Ивановну.

— Опосля Устиньи вы пропишите теперь про Герасимова брата, который помер, так у его, у упокойника-то, жена осталась, Марья Финогеновна, у ней, у Марьи-то Финогеновны, девчонка Анна Лукьяновна да парнишка — мужнин крестник, по мужу же ему и имя дадено, Герасимом Лукьянычем, — этим

теперь по поклону отпишите.

Долго перо Семеныча скакало по бумаге, выписывая Марью Финогеновну с ее девчонкой и парнишкой, наконец и они были введены в письмо.

— Написал, — угрюмо прорычал сочинитель.

— А написал, так про мужнину про тетку напишите, про отцову, значит, про Ивана-то Харитоныча сестру Аграфену Харитоновну, — этой поклон пошли. Только этой попроще пишете: «С супругом, мол, вашим и с чадами», — вот и всё, потому — где уж тут всех пересчитывать: у ей, вон, что ни год, то брюхо. Совсем измоталась она, сердечная, с ними, с пострелятами, — со вздохом добавила Никифоровна, — да, право!

— «...И с чадами», — изрек писарь.

— Написал?

— Написал.

— Так теперь Пастухову брату, Ефиму Антонычу, пропишите поклон «с супругою, мол, и с чадами». Известно, — добавила она, — он нам не родня какая; а только как завсегда они Гарасима как будто заместо родного почита-

ют, потому и им от нас честь.

— «И с чадами», — прописал писарь.

— Теперь баушке Лукерье Анисимовне, — такая у них старушка есть, — этой: «с единоутробной, мол, дочерью вашей», по поклону отпишите. Настасьей Лукинишной дочь-то зовут.

Бумага приняла и баушку Лукерью с ее единоутробной дочерью Настасьей.

— Дальше! — не отрываясь от письма, про-рычал Семеныч.

— Кому бы еще не забыть поклониться? — задумалась молодуха.

— А Ивану-то Митричу, — тихо подсказал один из рабочих.

— Ах, да! — встрепенулась Никифоровна, — совсем было я и забыла про него. Это — дяденька, свекровин брат, Иван-от Митрич. «И с супругой, мол, вашей», так и отпишите ему. Уж, признаться, ей-то и кланяться не стоило бы за ее подлеющий характер, — рассуждала сама с собой Никифоровна, — ну да плевать... Нетрог подавится нашим поклоном! Мы зла не помним, кровавыми слезами обливалась из-за её, из-за паскуды!

— Еще что будет? — спросил Семеныч.

— Теперь обнаковенно что... Пропишите, что живем, мол, мы во всяком здравии, благополучно, честно, благородно, промежду себя дружно и любовно, глупостями, мол, никакими не занимаемся; еще пропишите, что ему, мол, хозяйева поденных прибавили; а обо мне, что, мол, в тягостях ходит с самого с Миколы зимнего. Потом...

Она быстро поднялась с места, выдвинула из-под кровати сундук и вынула из него гостинцы.

— Иван! — обратилась она к молодому парню, сидевшему одиноко в углу и перебиравшему разные свертки и узелки, — теперь иди, гляди, что кому.

Никифоровна опять села к столу; приблизился и Иван.

— Так, пишите. Тятеньке посылаем, мол, денег рупь да пять аршин ситцу розового на рубашку. Гляди, Иван: вот эв тот! — прибавила молодуха и отложила ситец в сторону. — Мамыньке, Дарье Патрикевне, платок, который ей полюбится из эвтих из двух, а другой платок, — так и пропишите, — посылаем,

мол, сестрице нашей, Устинье Ивановой, за-
место красного яичка. Понял, Иван, как надо
сказывать?

— Понял.

— Теперича отпишите еще, что, мол, сест-
рице Марье Финогеновне посылаем мы два
аршина ситцу белесоватого, цветочками, на
рукава, да три аршина миткалю, на стан, —
миткаль-от и у самой бы изошел, да так уж
ей... больно баба-то хорошая; а детям ихним
по деревянному яичку да по пятиалтынному
денег. Ты смотри, Иван, запоминай тверже.
Деньги вот тут, в яичках, внутри, — ви-
дишь, — показала Никифоровна.

— Тоже, брат, оделить всех — начетисто, —
заметил один из стоявших у стола парней.

— Да как же, парень, не начетисто? Ты гля-
ди, какая их прорва, — согласился другой.

— По гостинцу, по грошу, скажем так, а
то — жила лопнет! Верное слово.

— Ну, не мешай, ребята: опосля наговори-
тесь, — строго заметил писарь.

— Отпиши, Семеныч, еще, что посылаем
мы, дескать, все это по силе-возможности, от
трудов своих праведных. А писали, мол, вы,

тятенька, что лошадь хотели сменять, так в этом деле, мол, мы вам не укащики и малым своим умом ничего доложить вам не смеем; но только денег, сколько вы просите, нам выслать не вмоготу, так как достатки наши малые, а в Москве на все дорожисть — одни харчи чего стоят; а тут еще фатеры, одежда... на сапогах вон сколько целковых в год-то изобьешь.

Никифоровна задумалась на минуту.

— Еще пропишите, что когда Иван пойдет оборотом в Москву, так прислали бы с ним холста, который поровнее, потому тут без холста совсем туго приходится, а купить — так приступу к нему нет. Скажи, Иван: тот бы холст прислали, который онамедни тятенька посулился нам отдать, да мы не взяли.

Никифоровна собрала со стола гостинцы и завернула все их в одну бумагу.

— Что же еще писать? — спросил писарь.

— Да что же больше? Надо быть, всё. Живы, мол, здоровы, кланяемся всем... Что же еще-то писать? Разве вон ребята захочут что...

Ребята переглянулись.

— Пиши, пожалуй, от нас по поклону, —

выдвинулся один из них. — Емельян, мол, с Андреем да Миколай всем кланяются и поздравляют с праздником; а Миколай, мол, кроме того, шлет Устинье Ивановой двугривенный на закуску, — добавил он и, сконфузившись, положил на стол монету.

— О пес, волокида! Засушил девку! — шутя погрозила Никифоровна Николаю.

Присутствовавшие захохотали. Николай еще больше переконфузился и отступил в сторону подальше, в глубину избы.

Письмо окончилось. Оно занимало полуплист кругом, и хотя некоторые буквы в нем и валились одна на другую, словно пьяные, а некоторые строчки, вместо того чтобы стоять параллельно, ползли кто в Казань, кто в Рязань, тем не менее письмо было написано складно, так что, когда Семеныч провозгласил перед публикой его содержание, публика умилилась, а Никифоровна даже два легонько утерла рукавом слезы. Прочитавши, Семеныч сложил бумагу несколько раз, так приблизительно раз восемь, отчего из полуплиста образовался небольшой пакетик, в вершок величиною; затем писарь вынул из кар-

мана кусочек сургуча, вытащил оттуда же медную солдатскую пуговицу с изображением разрывающейся бомбы и принялся печатать письмо этой бомбой. Процесс печатания особенно полюбился зрителям.

— Сергуч-от, сергуч-от, гляди, как закипел, подлый!

— Вот на том свете, говорят, таким же сергучом глотки вашему брату заливать будут.

— Страсть, братец ты мой.

— За грех, известно, не минуют: за грех, парень, и царей в пекло валят, не токмо что простонародье.

— Недаром пословица-то говорится: «грех в орех — спасенья навек»: во как его заслужить-то трудно!

— На пуговицу, ишь ты, наплевал, — перебил философ третий парень.

— А не наплевать на нее, так она ведь к сургучу-то пристанет, язевый твой лоб! — вразумил Семеныч.

— У всякого, парень, свой инструмент, — добавил один из философов, — у писаря — свой, у солдата — свой, у дохтура — свой, у попа — свой. Удивительное, братец, дело!

— Кто с письмом пойдет? Принимай!

— Иван, подходи!

Иван подошел и получил из рук писаря письмо.

— Уж письмо-то тебе, брат-молодка, супротив других написал, — сейчас издохнуть! — похвастался Семеныч.

— Так что же: ты нам постарался, Семеныч, и мы тебе также с полною нашею благодарностью. Ряжено было тебе за работу — козушку да гривенник денег, а мы вот как за твою доброту — обирай деньги! — сказала Никифоровна, выкладывая на стол четыре пятака.

— Но, дай тебе бог доброго здоровья! Поверь, Никифоровна: ты человеку добро, а человек тебе вдвое, — истинное слово!

Семеныч забрал свои инструменты, распростился и вышел.

Иван стал сряжаться в путь. Все посылки он уложил в большой мешок вместе со своим носильным платьем, сапогами и проч.; дно и верхушка мешка были туго скручены веревкой, концы которой при перекидывании мешка за спину связывались на груди. Пись-

ма (а их было несколько, так как вести и гостинцы посылали в деревню, кроме Никифоровны, еще и некоторые другие) он опустил было сначала в карман шаровар, потом передумал и засунул их за голенище, потом опять передумал и долго пытался пропихнуть их в шапку, за подкладку; наконец, не удовлетворившись ни тем, ни другим, ни третьим, совершенно растерялся и выложил письма на стол. Письма эти кручинили нашего путешественника больше всего, с одной стороны, потому что он боялся их перемешать, а с другой — потому что боялся их потерять, тогда как в некоторые из них были вложены деньги и, что главнее всего — все они представляли, так сказать, ключ к тем посылкам, которые находились в мешке: пропади письмо — кому что тогда отдашь?

— Миколай! которое Аниськино-то письмо? — спросил Иван, с недоумением переводя письма на столе.

— А которое оно, парень, — вот как перед истинным богом! — я и сам забыл, — искренне побожился Николай и тоже уставился на письма.

— Вот Аниськино, вот! — вмешался третий земляк. — Ты только то помни, беспамятный ты человек, — вразумлял он Ивана, — что которое письмо ногтем мечено — вот, видишь! — то Аниськино, которое пуговицей пропечатано, то Анны Микифоровны — слышь! которое наперстком заделано, то Климово; у его же, у Климова письма, еще вон и угол зубами обгрызай. Понял?

— Понял.

— Теперь эвти... Слушай! Махонькое, это — Трофимово будет, а вот которое побольше, ко-солапое — вишь, какое аляпистое! — это от Василия Большова идет, угластое, это — Сенькино, а в пакете, ровно бы барственное, это — иван-иванычево. Ну, понял, что ли?

— Теперича понял.

— Вполне?

— Вполне.

— А клади, парень, письма в шаровары, в карман, да карман-от ниткой захлестни, — вот оно дело-то и без опаски будет, — присоветовал земляк в заключение.

— Андрей, брат Ваня, худому не научит, — подтвердил Андреевы слова Николай.

— Еще бы, паря, мне-то не знать? Слава тебе господи! не один, чай, год в деревню хаживали, да не по эстольку, не по семи, может, по семисот писемов-то носили, — прихвастнул Андрей, — да и то, бог милостив, в аккурате все предоставляли. Вот не сойти с места!

Наконец письма по совету Андрея были вложены в карман шаровар и старательно зашиты. Иван перекинул за спину мешок с гостинцами и собственной утварью и закрепил концы веревкой на груди, взял в одну руку картонку с новым картузом, а в другую палку и, таким образом, был совершенно готов. Все присутствующие по христианскому обычаю предварительно сели, а потом встали, помолились и затем начали прощаться.

— Так смотри же, Иванушка: всем, всем, мол, кланяемся, и большим, и махоньким — всем! — наказывала молодица, выпроваживая путника за дверь.

Вышли на двор, потом на улицу.

— Письма-то держи в уме, которое кому, — наставлял Андрей.

— Я держу твердо.

— То-то. Да на машине не зевай!

— Клажу-то держи при себе крепче, чтобы лихой человек какой, грешным делом, не уволок. В оба смотри!

— Об холсте-то не забудь, Иванушка, как тебе наказано, — напомнила Никифоровна.

— Ладно.

Так, наставляя парня уму-разуму, незаметно прошли наши земляки всю Бутырскую слободу, обошли, а то и вброд перешли не один десяток громадных луж, не раз останавливались, чтобы доскональнее внушить тот или другой совет, ту или другую просьбу, — наконец пахнуло жгучим, холодным ветром с пруда, уж и Бутырская застава вон... рукой подать. Обнялись земляки в последний раз и расстались: почта зашагала на машину.

На возвратном пути Никифоровна не утерпела-таки и забежала в кабак, откуда, впрочем при помощи земляков, ей удалось теперь выхватить своего вконец развинтившегося Герасима, позабывшего уже о недавнем стремлении к «машинной части» и взамен того в умилении сердца вопившего на всю улицу:

— Тятенька с мамынькой, басловите ме-

ня... шtbody чтобы некручинно мне век вековать... и
с супругою с моею... с дражающею... Забыл
как звать. Урра!!!

Примечания

Деревенская почта. — Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости», № 267 за 1871 год. Этим рассказом было положено начало циклу «Калейдоскоп» (с подзаголовком «Рассказы, картины, очерки и проч.»), куда вошли также рассказы «Свадьба» (1871, № 282), «Лекарка» (1872, № 1), «Легенда о крапивном семени» (1872, № 18), «Пожарный» (1872, № 26), «Беспечальное житье» (1872, № 38) и «Пламенная любовь» (1872, № 177).

Рассказ печатается в настоящем издании по тексту газеты «Русские ведомости».

[^^^]